

На эту борьбу президент не жалел ни сил, ни времени. Он интриговал против О. Баклунда, не желая этого «иностранца со всеми его качествами» допускать до Пулковской обсерватории; в 1890 г. вел борьбу за А. О. Ковалевского против «немца» Ф. Д. Плеске, известного русского орнитолога, директора Орнитологического музея Академии наук. Плеске, кстати, избрали в 1890 г. адъюнктом, как и Ковалевского, а в 1893 г. — экстраординарным академиком. Однако, не вынеся интриг, шедших, как видим, от самого президента, он в 1897 г. оставил работу в Академии.

Итак, на излете проблема «обрусения» нашей национальной науки приняла уродливый, почти карикатурный характер, ибо к концу XIX в. русская наука уже прочно стояла на ногах и ни в какой защите от «немецкого засилья» не нуждалась. Для К. К. Романова же принадлежность к «немцам» определяла только фамилия ученого. «Немцами» для него были Плеске, Струве, Ольденбург, Шмальгаузен и другие чисто русские ученые, родившиеся, само собой, в России. Такое отношение к чистоте науки более напоминало позицию уже вскоре возвысившего голос с трибуны Государственной думы В. М. Пуришкевича, одного из лидеров «Союза русского народа», столь же рьяно боровшегося за чистоту русской нации.

Литература

1. Павлова Г. Е., Федоров А. С. Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765). М., 1988.
2. Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 10. М., 1957.
3. Вернадский В. И. Труды по истории науки в России. М., 1988.
4. История Академии наук СССР. Т. 1. М., 1958.
5. Анисимов Е. Россия без Петра. СПб., 1994.
6. Григорьян А. Т., Ковалев Б. Д. Даниил Бернулли. М., 1981.
7. Менделеев Д. И. Какая же Академия нужна в России? // Новый мир. 1966. № 12.
8. Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох (от России крепостной к России капиталистической). М., 1985.
9. Тимирязев К. А. Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов // Соч. Т. VIII. М., 1939.
10. Карл Бэр и Петербургская Академия наук. Л., 1975.
11. Сеченов И. М. Автобиографические записки. М., 1952.
12. Александр Михайлович Бутлеров (По материалам современников). М., 1978.
13. Бутлеров А. М. Русская или только Императорская Академия наук в Санкт-Петербурге? // Соч. Т. III. М., 1958.
14. Князев Г. А. Д. И. Менделеев и Императорская Академия // Вестник АН СССР. 1931. № 3.
15. Князев Г. А. Менделеев и царская Академия наук (1858–1907) // Архив истории науки и техники. 1935. Вып. 6.
16. Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной России. Л., 1983.
17. История Академии наук СССР. Т. II. М., 1964.
18. Мейлах Б. Послесловие к статье Д. И. Менделеева «Какая же Академия нужна в России?» // Новый мир. 1966. № 12.
19. Фигуровский Н. А. Д. И. Менделеев. М., 1961.
20. Арская А. П. Двенадцатый президент Академии наук // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 1.
21. Загадка КР (Из дневников великого князя К. К. Романова). М., 1994. № 1.

И. П. КУЛАКОВА

**СПОР О ПЕРВОРОДСТВЕ:
275 ЛЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ?..**

В истории училищ, в памяти их преданий заключается та нравственная основа, на которой должна утверждаться самобытность учебного заведения.

С. П. Шевырев

Москва и Петербург — два культурных центра России, в отношениях которых элемент состязательности присутствовал всегда. Московский и Петербургский — два крупнейших университета, которые с некоторых пор вѣдут спор о первородстве.

Обращаясь к этой теме, определимся: существует ли универсальная, в чистом виде, университетская модель (тем более, применительно к XVIII в.)? Мировой опыт открытия университетов показывает — примерно с XV в. начинают появляться национальные варианты университетов, каждый из которых имеет свои особые черты [1, гл. 1]. В странах так называемого второго эшелона капиталистического развития (Россия, Германия) организатором высшей школы выступило государство, что придало ей еще больше своеобразия.

Нынешний 1999 год был объявлен годом 275-летия Санкт-Петербургского университета.

Устроители торжеств сочли возможным отождествить Академический университет и Петербургский, официально основанный в 1819 г., считая их одним учреждением. Предпринято роскошное юбилейное издание [2], в котором целому коллективу сотрудников удалось ценой кропотливой работы собрать много новых и интересных фактов из жизни Академического университета. Факты собраны настолько кропотливо, что поневоле зарождается сомнение: если университет *был*, то почему нужно изыскивать доказательства того, что *был именно университетом*, что он все же функционировал, а не «умер» в последней трети XIX в.? Почему это процветание и исключительно важная роль Академического университета оказались забыты, а современники никак не связывали его с новообразованным Санкт-Петербургским университетом (уже в 1844 г., когда праздновался юбилей последнего, вышла работа «Первое двадцатипятилетие Императорского университета»)? Почему эту связь нужно *доказывать*, собирая драгоценные «улики»? Только сейчас, в дни юбилея, Академическому университету

было присвоено название «Петровский» (в XVIII в. он так никогда не именовался, так его никогда не называл Ломоносов [2, с. 36]) — видимо, по аналогии с Московским, который в царствование Елизаветы Петровны профессора называли «елизаветинским» («*Alma Universitas Elisabetana*») [3, с. 72].

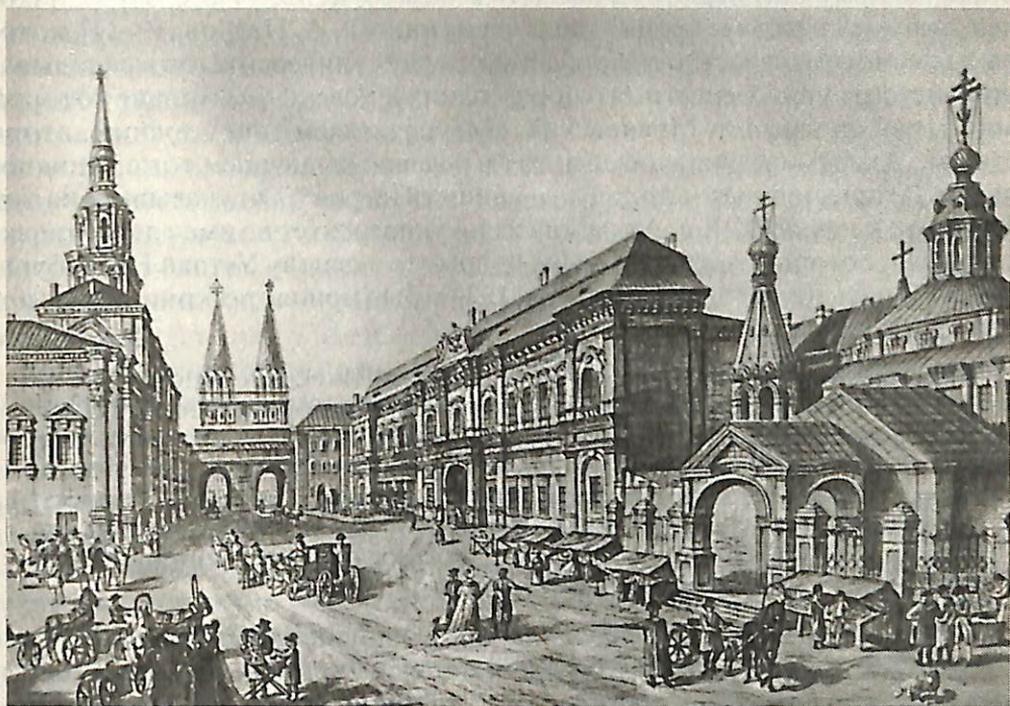
Московский университет не нуждается в доказательствах: он просто — был. Был в действительности и был в сознании общества — *первым*, и его общественная роль осознавалась, и не только не могла быть забыта, но все более ценилась с течением времени.

В России появление университета предшествовало созданию системы начального образования, поэтому неудивительно — то, что объявлялось «университетом», функционировало вначале как гимназия (с этого начали и в Петербурге, и в Москве). Но если пренебречь отсутствием некоторых существенных признаков университета, как это делают апологеты Академического университета, говоря о гораздо более поздних стадиях), то нельзя ли считать первым университетом гимназию пастора Глюка, возникшую в 1705 г. в Москве? Разумеется, нельзя — хотя по формальным признакам гимназия Глюка мало чем отличается от первых университетских гимназий*.

Почему же Московский университет, казалось бы, так же начинавший с двух гимназий, «переварив» западноевропейскую идею, укореняется и постепенно, но столь плодотворно воплощает ее, а Академический хиреет и рассыпается, да так, что доказательства его существования надо искать с лупой?

Оценку этой проблемы в работах, не связанных с подготовкой юбилея, попытались дать ученые, как московские, так и петербургские. И. В. Заха-

* В 1703–1705 гг. в нарышкинских палатах на Покровке образовалась «школа» — со своими владениями, с особыми «избами» для живущих там, а с 1705 г. туда были переведены шестеро русских учеников, уже овладевших немецким и латынью в одной из лютеранских школ Немецкой слободы. (Заметим, что сам дом представлял собой монументальное здание дворцового типа в стиле «московского барокко с залом [4, с. 289].) 25 февраля 1705 г. школа получила статус гимназии и начала свою деятельность («Для общие всенародные пользы учинить на Москве школу, ... а в той школе бояр и окольных и думных и ближних и всякого служилого и купецкого чина детей их. Которые своей охотою приходить ... станут, учить греческого, латинского, итальянского, французского, немецкого и иных розных языков и *философской мудрости*». К изданному «Приглашению» был приложен «каталог учителей и наук».) Были приглашены семеро учителей (из немцев), которые должны были учить географии и философии, этике и политике, а также толкованию латинских авторов, языкам, грамматике и арифметике; сын пастора Христиан Глюк брался преподавать картезианскую философию и древние языки. В школе имелся «танцевальный мастер» и «конский учитель» (обучавший верховой езде). Как видно, по сути школа пастора Глюка была задумана «гимназией» с довольно широкой общеобразовательной программой, и гипотетически, при благоприятном развитии событий вполне могла бы перерасти в университет — ведь Глюк приглашал для преподавания выпускников Галльского университета, трое из которых уже прибыли; предполагался и ректор. Однако после скоропостижной смерти старшего Глюка широкая образовательная программа просуществовала недолго, вскоре сократившись до нескольких курсов иностранных языков, т. е. став профессиональной школой. Выросшая из этого учебного заведения школа Федора Поликарпова проработала в Москве до 1714 г. и была переведена в Петербург (о школе см. [5, с. 313–333]).



Здание Главной аптеки на Красной площади — первое здание Московского университета (арх. М. И. Чоглоков, ок. 1700; перестроено Д. В. Ухтомским в середине XVIII в. Не сохранилось.). Акварель мастерской Ф. Я. Алексева. Конец XVIII — начало XIX вв.

ров и Е. С. Ляхович, рассматривающие складывания российской системы университетского образования в сравнении с европейскими, исходят из того, что первым реально действовавшим был Московский университет. Ю. Х. Копелевич, скрупулезно изучившая домоносковский период Академического университета, считает возможность «удревнить» историю Петербургского университета почти на столетие безосновательной [6, с. 4]. Авторы коллективной монографии «Университет для России» [7] попытались показать, почему Московский университет всегда был более, чем учебно-научным центром. Не так давно была опубликована посвященная Академическому университету статья А. Ю. Андреева [8], специальный характер которой избавляет нас от необходимости излагать историографию вопроса. Он приводит целую систему доказательств того, что, во-первых, Академический университет не может считаться первым в России, каковым уже почти 250 лет является университет Московский, и, во-вторых, основанный в 1819 г. Петербургский университет не имеет преемственной связи с Академическим. К этим доказательствам мы и отсылаем читателя, желая напомнить только один факт из приведенных — 5 ноября 1804 г. первенствующая роль Московского университета была закреплена за ним законо-

дательно: в Утвердительной грамоте Александр I выразил «признательность Нашему сему первому в России высшему Училищу» [8, с. 64]. И, наконец, в самое последнее время вышла серия книг Ф. А. Петрова [9–11], который рассмотрел, в частности, роль и место двух университетов в складывании системы университетского образования в России — во главе которой встал, как он считает, Московский. «Мы разделяем точку зрения автора статьи „Академический университет“ в недавно вышедшем томе энциклопедии „Отечественная история“», — пишет Петров*. Он указывает на тот факт, что к началу XIX в. Академический университет не имел даже проекта устава, который можно было бы положить в основу Устава Петербургского университета**; лишь 4 января 1824 г. был принят рескрипт Александра I, который предписывал

действие устава бывшего Главного педагогического института со всеми его изменениями по первоначальному образованию Санкт-Петербургского университета прекратить, приняв для сего университета в руководство по части управления оного ...до составления и утверждения для него особого устава, устав Московского университета, как древнейшего из российских университетов, начала коего остались и поныне без всяких перемен коренным законом сего высшего учебного заведения (11).

Таковы строгие факты официальных источников (а в формальной стороне дела бюрократы александровской эпохи знали толк). Нам же хотелось бы коснуться другого аспекта проблемы — какие *социокультурные признаки* позволяют считать учебное заведение истоком гуманитарной мысли России нового времени, начальным звеном в процессе складывания системы университетского образования в России.

Академический университет и его особенности

Заслуги Академического университета в деле становления российского университетского образования (и Московского университета как его центрального звена) бесспорны. Академические учебные заведения прошли необходимый для всей России тяжелый начальный этап, создавая и возобновляя распадающиеся первые классы, каждый раз начиная при этом почти с нуля, в условиях полного отсутствия подпитывающей высшую школу интеллектуальной среды, при отсутствии устава (а именно поэтому существует мнение, что фактически Академический университет начинает существовать только с 1747 г. [12, с. 148]). Бесценный опыт, приобретенный ценой

* «Функции предполагавшегося университета были переданы Академии, а к середине XVIII в. университет как внутреннее структурное подразделение в системе Академии наук реально еще не существовал... Ни организация учебного процесса, ни предполагавшийся контингент студентов не имели четкой разработки» (цит. по [9, с. 40]).

** «Положение 8 февраля 1819 г.» было лишь временной мерой. Министру просвещения С. С. Уварову в течение трех месяцев пришлось работать над составлением проекта устава нового Петербургского университета (см. [9, с. 388; 11]).

проб и ошибок, благодаря которым были наработаны основополагающие методические приемы образования (принципы проведения диспутов, чтения лекций на русском языке, система занятий и пр.). Постепенно вырабатывались некоторые формы внутренней жизни учебного заведения (порядок поощрения учеников, нормы их общежития, опыт расселения, пространственное размещение подразделений, — все то, что структурировало жизнь учеников и преподавателей). И можно согласиться с В. И. Чесноковым, что Московский университет был плодом осмысления неудачного опыта Академического университета в «чиновничьем» Петербурге (важны слова Ломоносова, обращенные к Шувалову: из университета при Академии наук ничего не получится, так как с учебным заведением такого типа дело «не пойдет даже у Мецената» [13, с. 5]).

На начальном этапе роль Академического университета, как уже говорилось, выполняла сама Академия наук. Именно она дала своим учебным учреждениям связь с европейским научным миром, предоставила в распоряжение комплекс своих подразделений (ведь в нее входили Кунсткамера, Библиотека, Обсерватория, Анатомический театр, Ботанический сад, Физический кабинет, мастерские и целый ряд подсобных учреждений). Плохо было то, что жизнедеятельность самой Академии поддерживалась искусственными средствами [14] (известно, что к 60-м гг. XVIII в. престиж Академии наук особенно упал*).

Порядки академических учебных заведений отразили все несовершенство бюрократической системы, которая царила в Петербурге в целом и в Петербургской академии наук в частности. Несамостоятельность Академического университета и гимназии, привязанность их к Академии были чреватые не только недостатками в системе образования (о чем нередко говорится), но и (что является, на наш взгляд, главным) *отсутствием даже зачатков собственно университетской корпорации*. Как кажется, руководствуясь привычными нормами, этот бюрократический стиль сотрудники Академического университета приносили в свою практику, действуя и за его пределами. Насколько силен был стереотип, видно на примере деятельности В. Е. Адодурова, одного из первых выпускников Академической гимназии: став куратором уже Московского университета в 1762–1780 гг. и устанавливая там жесткий порядок, он взял за образец канцелярию Академии наук, привычный ему образец организации работы научного учреждения: власть Конференции профессоров при Адодурове снизилась, зато возросла роль самого директора и ассессоров**.

Еще один пример того, насколько глубоко академические порядки впи-

* По словам Ломоносова, относящимся к 1760 г., иностранцы не хотят поступать в академическую службу, тогда как ранее они делали это охотнее [14, с. 61].

** Внутри Московского университета в разные периоды в решении внутриуниверситетских проблем соперничали Канцелярия и Конференция, однако принцип невмешательства чиновников в научные дела в России трудно было реализовать на деле. Впрочем, еще в протоколах Конференции 1756 г. можно было прочесть: «...И пусть господа ассессоры не берут на себя смелости... что-либо переменять в классах» [15, с. 3].

тывались в сознание сотрудников, воспитанных в системе Академии — уже начала XIX в. Дело основания Казанского университета тогда оказалось в руках известного ученого, последователя Ломоносова академика С. Я. Румовского, в свое время окончившего Академический университет. Если «основатели» Харьковского университета В. Н. Каразин и С. О. Потоцкий «всячески стремились привлечь харьковскую общественность, и прежде всего дворянство, к созданию университета, а само по себе открытие там приобрело характер крупного торжества, то в Казани не было даже официального объявления об открытии университета». Румовский просто «провозгласил» открытие, «переименовав учеников старших классов гимназии в студентов, а самих учителей в профессоров и адъюнктов вновь образованного университета». Так, «в смешении факультетов и в младенческом составе открылся наш университет», — вспоминал С. Т. Аксаков) [10, с. 233–234]. При этом наряду с университетскими лекциями студенты продолжали посещать и высший класс гимназии*. При Румовском Казанский университет в нарушение устава начал существовать без выборного ректора, власть которого заменялась властью назначенного попечителем «профессора-директора» (назначенного самим Румовским), а функции Совета и Правления передавались подвластным директору педагогическому совету и конторе гимназии. Принципы университетского самоуправления, гарантированные новым уставом, не были проведены в жизнь, и в результате до 1814 г., в течение 10 лет, Казанский университет представлял собой нечто среднее между гимназией и высшей школой [10, с. 235–236]. При этом, как профессионал, Румовский уделял особое внимание постановке в Казани преподавания астрономии (и в этой односторонности видна черта Академического университета). Очевидно, что в Казани С. Я. Румовским, сформировавшимся в лоне Академического университета, была скопирована бюрократическая петербургская система**.

Очевидна зависимость системы подготовки учащихся от нужд Академии, центральной задачей которой оставалась подготовка собственных кадров для Академии [1, с. 21]. Н. И. Кузнецова в своем социокультурном исследовании подчеркивает, что «„университетская“ (обучающая) функция Академии выглядела вторичной, а не первичной» [16, с. 45–46]. В помощь иностранным академикам были нужны специалисты-профессионалы, а не широко образованные интеллектуалы — поначалу «появление коллег по цеху даже не предусматривалось» [14, с. 62].

Фактически Академический университет встал на путь *индивидуальной подготовки* — встал поневоле. Академиком было вменено брать учеников

* Ф. А. Петров, отмечая, что и в Московском университете дворяне, учащиеся в Благородном пансионе, одновременно могли посещать и лекции профессоров университета, указывает на его принципиальное отличие от Казанского университета: «там выбор лекций определялся личным желанием студента, тогда как здесь преподавание в университете состояло исключительно в повторении пройденного в гимназии» (см. [10, с. 234–235]).

** До своего назначения он руководил петербургской гимназией, а в 1800–1803 гг. был вице-президентом Академии наук.



А. И. Бельский. Муза Астрономии. 1756 г.

Единственная из сохранившихся аллегорических композиций, заказанных для украшения интерьера первого здания Московского университета

в экспедиции, а также обучать старших студентов «по индивидуальным планам» (и вряд ли это можно считать «повышением требовательности к студентам и качества учебной работы с молодежью», как пишут авторы «юбилейного» издания [2, с. 41]): что говорить о студентах, когда сама Академия не была корпорацией и могла быть отождествлена с рядом независимых, отдельных ученых [14, с. 95].

Университеты и дворянство

Об университете можно говорить как о начале, объединяющем сословия. Но то, что в Москве в одном классе университетской гимназии оказались одновременно Григорий Орлов, Денис Фонвизин и Василий Баженов, еще не говорит о том, что задача создания бессословного университетского образования была решена. Университеты были ячейками новой культуры, но ведь очевидно, что новая культура в России XVIII в. была прерогативой главным образом дворянства.

Петровская система узкопрофессиональной подготовки кадров изжила себя; в дворянской среде идет развитие *сферы досуга*, частью которого становится образование. Процесс развития дворянского досуга совпадает с процессом эволюции дворянского контингента университетов.

Образование и воспитание верхушки дворянства становится сферой приложения сил организаторов из того же сословия (П. и И. Шуваловы, С. Мордвинов) [17, с. 111–112]. В Петербурге по мере стечения сюда сливок дворянского общества появляется система закрытых учебных заведений, где дворян готовят не только к службе, но и к общественной жизни (Кадетские корпуса — Сухопутный, Морской, Инженерный). Но массы среднего и мелкого российского дворянства оставались неохваченные образованием.



Урок в Сухопутном шляхетском корпусе. XVIII в. С рисунка кадета И. Дергуна

Только в 1760-е гг. широкие массы дворянства, поучаствовавшего в Семилетней войне, насмотревшись «немецких» порядков, начинают менять образ жизни. Государство окончательно берет просвещение под контроль*. «Пристойное воспитание» стало обязанностью дворянина, но господствует пока обучение домашнее. Постепенно новые ценности начинали укореняться в среде провинциального дворянства. И именно Москва становилась образцом для подражания провинции (Санкт-Петербург — несомненный центр просвещения, но — слишком далекий, «слишком блестящий» для большинства). Практически все дворяне центральных губерний были связаны с Москвой, имели там дома (на это как на один из резонансов размещения университета указывали организаторы Московского университета) — их дети были потенциальными студентами. Однако, увы, приток дворян был не так велик, как ожидалось. Мелкое и небогатое дворянство подходило к обучению детей в университете поначалу утилитарно (и это было характерно для Академического и Московского университетов) — нередко сюда являлись лишь затем, чтобы научиться одному из предметов: французскому или немецкому языкам, арифметике; иные дети учились по нескольку недель или месяцев и уходили [18, с. 49–50]. В начальный период успевающие ученики часто были отчисляемы из университета по требованию родителей — семья не желала смириться с новым стимулом и отправляла своего отпрыска на службу; на университетскую гимназию смотрели как на промежуточное учреждение перед ней [19, с. 232].

* После 1762 г., дав дворянству вольность, государство фактически превратило право дворян воспитывать сыновей «в училищах и домах» в обязанность, поставив таким образом дело воспитания под свой контроль (требовалось объявлять о детях старше 12 лет в герольдии, давать отчет об их знаниях и планах на «дальнейшее прохождение наук»).

Шло время. 70-е гг. продвинули дело просвещения в России: период после областной реформы (1775) был временем перемен в жизни провинциального города. Расцвели губернские города, а с ними и усадьбы, салоны — оживилась общественная жизнь, возросла активность дворянства*. В дворянской среде возрос контингент местной администрации, появилось множество должностей — и это сказалось на притоке дворянских недорослей в учебные заведения, в кадетские корпуса, но и — в Московский университет.

Система обучения при Академии наук отталкивала дворян** — академические познания не входили в систему досугового поведения. Татищев говорил, что в Академическом университете «шляхетских наук нет» (а эта сторона дела была крайне важна: ведь в XVIII в. танцы, например, не были дополнением к интеллектуальной деятельности — они заменяли ее, венцом же всей общественной жизни был бал [18, с. 168]).

При создании Московского университета Шувалов ставил во главу угла образование дворянства. (Деталь: в известном письме М. В. Ломоносова И. И. Шувалову об основании Московского университета напротив слов Ломоносова «Профессор истории» рукою Шувалова дописано «и геральдики» [21, с. 454].) Дело шло туго, но вот Московский университет нашел форму привлечения дворян — *Благородный пансион при Университете*: тип привилегированного учебного заведения — «гимназия высших наук», соединявшая курсы гимназический и университетский***. Таким образом достигалась двойная цель: дворянство могло получить довольно широкое образование, но одновременно поднимался и статус самого университета в глазах массы дворян.

Найденное соотношение преподаваемых предметов (широко, но не глубоко) и общая атмосфера, созданная в пансионе, позволили сломать стереотип восприятия науки как занятия для разночинцев и скептического отношения к ней дворянского общества. При этом Благородный пансион, хоть и был неотделим от Московского университета (близок территориально, одни учителя, одни праздники), но отделен от него. Несомненно, что Университетский пансион развивался как сословное учреждение****. Как заметил еще А. А. Кизеветтер, благородные пансионы «были вроде дворянского отделения при университете для тех, кто сторонился разночинцев» [9, с. 357].

Но то был единственно возможный в традиционном, сословном обществе путь — соединить сословия «под сению наук», совместить две системы

* И. Т. Болотов писал, что это был «наилучший, веселейший, благополучнейший и знаменитейший во всей жизни» период (см. [20, с. 732]).

** Хотя дети дворян и даже аристократов в самом небольшом количестве и учились в системе академических училищ, следует признать, что точкой притяжения в Санкт-Петербурге был Императорский двор (известный факт: стоило двору отбыть на короткий период в Москву, как Академия пустела).

*** Тот же тип воплотился в созданном гораздо позднее Царскосельском лицее. Двое преподавателей и пять пансионеров были переведены туда из Московского университетского благородного пансиона.

**** Пример 1822 г.: М. Погодин, ведя занятия в Московском университетском благородном пансионе, сделал пересадку учащихся и, как он пишет о себе, «взбесился — один кричит: меня посадили низко, другой жалуется, что худшего посадили выше» [22, с. 148].

ценностей (старую и новую, нарождающуюся) — благородство, обеспечиваемое происхождением, и уважение к науке. Один весьма показательный пример: Н. И. Тургенев, закончивший в 1806 г. пансион с медалью,

не особенно сильно интересовался университетскими лекциями и только год спустя, по окончании университета, ...когда он вольным слушателем снова посещал лекции профессоров, то с удивлением заметил, что некоторые... науки были для него весьма интересны (цит. по: [9, с. 458]).



*Питомец Московского университета
Н. И. Тургенев (1764–1824), сын директора Мос-
ковского университета И. П. Тургенева.
1790-е гг. Художник П. Э. Рокиткуль*

пути — ввести отделения для «шляхетства» и «подлейших»; в 1735 г. возник, но не осуществился план устройства при гимназии «семинариума» на 30 человек из дворян [23, с. 143; 24, с. 74]. Впрочем, иначе и не могло быть: в 30-е гг. дворянство в массе своей еще вовсе не готово к академической учебе. К тому же привязка «семинариума» к Академии грозила обернуться излишней «серьезностью», пугающей столичных дворян*. Однако сослов-

Следует также указать и на то, что круг идей, выражавшихся в сочинениях и публикациях питомцев пансиона и его кураторов (И. П. Тургенев, М. М. Херасков, И. В. Лопухин, А. А. Прокопович-Антонский) и основанных на принципах новой морали, не мог не достигать умов разночинного контингента университета, оказывая на них благотворное влияние. Представляя собой чисто российский тип учебного заведения, пансион стал *связующим звеном* между дворянской Москвой (более того — Россией) и университетом (куратор Херасков начинал с того, что водил своих воспитанников в лучшие московские дома).

Характерно, что и в петербургском Академическом университете еще в 30-е гг. XVIII в. пытались пойти по этому

* Профессиональное занятие дворянства чистой наукой в XVIII в. практически отсутствует. Еще в 1803 г. в особой статье, опубликованной в «Вестнике Европы», как небывалый факт отмечается первый пример вступления в сословие ученых русского дворянина в лице Глинки как профессора Дерптского университета.

ные предрассудки давали себя знать: в 1737 г. сам Л. Эйлер предлагал разделить слушателей пространственно (отдельные «места сидения» должны были препятствовать дурному влиянию на благородных) [23, с. 143].

Иногда шли по особому пути. Известно, например, что по совету академика Тауберта А. К. Разумовский с братьями, а также с сыновьями Г. Н. Теплова, А. В. Олсуфьева и И. И. Козлова были помещены в специально нанятый дом на 10-й линии Васильевского острова, где под наблюдением гувернера до 1765 г. занимались с учителями из Академии (такими, как Румовский и Шлецер) по особо составленному Таубертом плану. Этот своеобразный пансион получил характерное название «академия 10-й линии» [25, с. 436]. Однако это был исключительный, индивидуальный проект, созданный под конкретную персону и структурно никак не связанный с Академическим университетом.

И только в 1775 г., в рамках Академического училища, был сделан определенный шаг навстречу дворянству: с целью общественного просвещения начинается чтение публичных лекций, где слушателями выступали петербуржцы, причем даже дамы. (Впрочем, есть сомнения в том, что эта форма работы вообще лежала в русле деятельности Академического университета [8, с. 69]) Согласно Уставу 1804 г. (§9) при университетах полагались Благородные пансионы [9, с. 359] (однако пансиона при Академическом университете, который будто бы существует, мы не встречаем). Идея собственно Благородного пансиона возрождается в Петербурге уже при Главном педагогическом институте (1817), а затем с 1819 г. и при созданном на его основе Санкт-Петербургском университете, введенном указом Александра I. Но это уже другой университет, основанный на новых принципах, действующих в рамках новой системы российского образования.

Разночинцы и университеты

Разночинцы, как известно, и заполнили вакуум, составив основной контингент университетов. Контингент этот, однако, разнился. Москва, где уже давно существовала Славяно-греко-латинская академия, была полна семинаристов, которые пополняли здешний университет. К тому же Москва не утратила своей роли внутреннего центра и после перенесения столицы в Петербург (к XVIII в. сложилась система коммуникаций, имевшая ярко выраженный центр [26, с. 74–75]), а поэтому именно в Московском университете контингент учащихся мог быть расширен за счет появившейся зажиточной прослойки податных сословий (однодворцев, мещан, мелкого духовенства, посадских), которая могла обучать детей «на своем коште» [27, с. 14]. Установленная в Московском университете атмосфера патриархальности, покровительства была рассчитана в большой мере на этот тип учащегося. Что касается Петербурга, то здешние разночинцы были в массе своей представлены солдатскими детьми [28, с. 195]. По мнению Д. Дидро, дававшего советы Екатерине II (в том числе и по поводу училищ), необхо-

димо было придать городу дворцов и казарм более промышленный облик, создав в нем третье сословие:

...Нельзя ли побольше заселить Петербург, сделать его более живым, ...присоединив к множеству разбросанных в нем дворцов и частных дома?...Столичный город, чтобы быть законодателем, должен быть многолюдным (29, с. 22, 98).

Академическому университету поневоле приходилось «импортировать» выпускников московских духовных школ, которые хорошо знали латынь и представляли собой ценный «полуфабрикат» для гимназии.

В целом следует констатировать, что в силу чисто объективных факторов Московский университет был лучше обеспечен кадрами, что подтверждала и практика. Однако были факторы и субъективного свойства — успех московских гимназий, набиравших разночинцев в достатке, а отпрысков мелких дворян с все большим успехом, можно объяснить оптимальным (в тех условиях) построением учебного плана: постепенность, большой удельный вес языков (в том числе русского — на первой ступени), выбор уровней обучения. «Облегченный вариант» предусматривался для дворянства — по просьбе родителей некоторые дети освобождались от изучения латыни (Л. Б. Хорошилова отмечает *разное* отношение к конечным целям образования как положительную черту московского подхода [19, с. 227–228]).

Пространство новой культуры

Университет, возникающий в России в XVIII в., неизбежно вставал перед нелегкой задачей: «опустить» дворян и «поднять» разночинцев, подведя их к уровню восприятия научного знания*. Сделать это означало не больше не меньше как сменить все социокультурные нормы. Как появлялись и развивались побег «новой культуры», которая, получив импульс для развития в петровское время, уже в XIX в. стала культурой господствующей? Как, в каких формах происходило усвоение новых культурных форм?

Соглашаясь с М. Вебером, можно сказать, что главная внутренняя тенденция социального развития заключается в противоречии традиционного и нетрадиционного. В России со времен петровских преобразований рассадником новой культуры стал Петербург. Началось вращение *нового* культурного пространства в «тело» *старого* — вопреки условиям и устоям. Нам представляется, что конкретной формой распространения новой культуры было распространение ее через *замкнутые ячейки нового в лоне старого***.

Культурное пространство непременно включает в себя архитектурное.

* Еще П. Н. Милюков говорил, что Московский университет должен был удовлетворить сразу двум целям, которым в Санкт-Петербурге служили два разных типа учебных заведений: шляхетское и академическое.

** Ср. о пространственном оформлении культурных «ячеек» на региональном уровне у Н. К. Пиксанова («областные культурные гнезда») [30].

Архитектурная среда сама по себе есть порождение определенной культуры, и в силу своей природы призвана организовывать культурные процессы, вмещающая все — от семьи до учебного заведения, театра, типографии и пр. Начнем с того, что выбросами новой культуры в необъятное пространство старой традиционно считаются дворянские *усады* (из тех, что возникали как следствие мощного влияния просвещенной личности) — самодостаточные и замкнутые культурно-хозяйственные комплексы.

Однако практически все учреждения нового типа (академии, учебные и воспитательные заведения, больницы* и пр.) в России XVIII в. также зарождаются в виде самодостаточных, замкнутых *комплексов*. Наблюдения показывают: если на начальном этапе отдельные родственные подразделения оказываются пространственно отделены (отдалены) друг от друга, то в ходе жизни они имеют тенденцию «собираться». По мере же развития, развертывания в пространстве отпочковываются и отделяются самостоятельные учреждения и институты.

Известно, что Петербургская академия наук «была задумана и осуществлена как своеобразный комплекс научных, учебных и художественных учреждений» [31, с. 56], куда помимо прочего входили гимназия и университет. Поначалу учреждения эти были разбросаны, пока наконец не сосредоточились на стрелке Васильевского острова.

Если же несколько учреждений, несущих разные функции, начинают развиваться в одной «ячейке», то с течением времени, когда функции оформляются, структура усложняется и происходит «выталкивание», обособление разнохарактерных учреждений. Так случилось с Академией художеств, которая начала в одной своей части развиваться в лоне Московского университета (где в 1757 г. были организованы «классы художеств»), в другой — при Академии наук. Первая Академия художеств (как и университет) при Академии наук не отвечала своему назначению и тормозила деятельность самой академии — объединение «наук» и «художеств» в одном учреждении оказалось нерациональным [32, с. 71–72]. Неосуществим оказался проект выделения Академии художеств в Москве — «по причине, что лучшие мастера не хотят в Москву ехать как в надежде иметь от двора работы...» [32, с. 73]. В итоге пространственно Академия художеств (при поддержке И. И. Шувалова) обособилась как комплекс учреждений в Санкт-Петербурге.

Аналогичные процессы происходили в XVIII в. с театром. Госпиталь, Академия, университет, кадетские корпуса — при каждом «новом» учреждении в те времена возникал театр — атрибут «просвещенности». В Московском университете поначалу те же «классы художеств» готовили актеров и музыкантов для русского театра; при них было и отделение искусства декорации, а студенты играли в любительском университетском театре, который вскоре отделился, став основой театра Локателли. (Пример неудачи

* Например, Воспитательный дом, Лефортовский госпиталь, Голицынская больница, построенная Казаковым, и другие учреждения в Москве, а также Смольный институт и кадетские корпуса в Петербурге, включали в себя замкнутый культурный комплекс (с такими составляющими, как парк, галерея, библиотека и т. д.).



Санкт-Петербург в начале XVIII в.

последнего показывает, что недостаточно построить здание, назвав его городским театром, чтобы оно стало самостоятельной ячейкой культурного пространства [33, с. 121–124].) Лучшие силы университетского театра были «оттянуты» Петербургом, став основой императорского театра.

Те же процессы характерны и для учебных заведений, при создании которых деятели Просвещения ориентировались на идеальные нормы, внедрять которые лучше начиная с «чистого листа». Отсюда вечное стремление оторвать учащегося молодого человека от традиционной среды, окружить его атмосферой познания, где действуют «правильные» законы, где сословные привилегии становятся не главными. Однако все это противоречило самой идее университета, предполагающей новый для России тип поведения — бессловный, с иными ценностными ориентирами. (Ср. мысль Ю. М. Лотмана о том, что Россия XVIII в. представляет собой системный мир, и каждая из систем предполагает особый тип поведения.)

Беспокойство о порче нравов воспитанников пронизывает документы, описывающие жизнь как Академического, так и Московского университетов.

Одним из новых учебных заведений стал Московский университет, и именно для него характерно особое пространство — пространство культурных событий, лежащих в русле новой парадигмы, внесенной в русское общество веком Просвещения*. Мы говорим об университетском

* Этому аспекту университетской жизни было посвящено самостоятельное исследование, ставившее ряд вопросов: в какие пространственные формы отливались отношения, складывавшиеся в ходе деятельности Университета и вокруг него; как культурная ситуация Москвы (и России) рассматриваемого периода соотносилась с конкретным институтом; через какие каналы шло взаимодействие образования и науки с другими сферами культурной жизни [33].



Окрестности Санкт-Петербурга в начале XVIII в.

пространстве как сфере одновременно протекающих материальных и интеллектуальных процессов, несущей на себе печать московской атмосферы.

Рассмотрение городской среды, в которой возникали и существовали университеты, очень важно. Среда, где появляется учебное заведение, может быть для него более или менее благоприятна.

Петербург, как известно, возник как город-крепость, город-порт, и впоследствии продолжал оставаться военной столицей, постоянно наращивая свой гарнизон. Этот контингент изначально не мог быть настроен на втягивание в орбиту университетского образования. (К. Г. Разумовский, вернувшись домой из Страсбурга, где он завершал свое образование и впечатления о котором были еще свежи, остался недоволен Петербургом: он увидел «присутствие военной молодежи, буйство офицеров и кутежи» [25, с. 436]).

Не секрет, что обстоятельством, которое мешало укоренению университета в Петербурге, было присутствие двора, вокруг которого в столице крутилось все и вся. Он задавал тон, структурировал всю культурную жизнь города. Недаром после переноса сюда двора вдоль дорог, ведущих к загородным царским дворцам (большой Петергофской (императорской) дороги и дороги в Царское село), устраивались не усадьбы (московского типа), а загородные дома — это давало возможность и во время отдыха не порывать с придворным миром [34, с. 47–49].

Резиденция императора — яркий и притягательный источник благ — является центром культурного пространства. Все культурные приоритеты смещены в сторону придворной жизни. Ее формы воспроизводятся в дворцах и усадьбах дворян. Именно принадлежность ко двору, участие в цере-

мониях отличают самые почетные места в социальной иерархии*. Дворянские закрытые учебные заведения продолжают оставаться ориентированными на придворную службу: в 1731 г. открывается Кадетский шляхетный корпус, который сразу же наносит удар по Академическому университету, давая отток дворянства. Лишь постепенно (и довольно поздно) появляются очаги культурной деятельности, не связанной с двором. Кроме того, в Петербурге крайне немногочисленной была сама разночинская прослойка. Одним словом, военная столица империи была крайне неблагоприятным местом для развития университетского образования.

Д. Дидро, дававший, как уже упоминалось, советы Екатерине II о заведении университетов, прожив в столице пять месяцев, писал в 1775 г. о Петербурге:

Я лично огорчен тем, что здесь столько дворцов, и хотел бы видеть здесь в 10 раз больше хижин.

В том же 1775 г. другой просветитель, М. Гримм, советовал Екатерине:

Желательно устраивать университеты в таких городах, которые не являются ни столицами, ни резиденциями, ... так как присутствие суверена поглощает все внимание, а слишком большое движение и шум отвлекают от занятий (35, с. 379).

Обособление

Мы говорим об университетском пространстве как сфере одновременно протекающих материальных и интеллектуальных процессов. Поэтому оказывается принципиально важным создать условия для самодостаточной замкнутой ячейки, в которой могли проводиться в жизнь новые принципы, *где шло общение и сотрудничество на новой для России почве.*

На начальном (доломоносовском) этапе существование академических учебных заведений подвергалось суровым испытаниям благодаря местным природным и климатическим условиям. Препятствием было само пространство Петербурга, его разделенность рекой (мост-то был всего один). Но добавлялась также разбросанность академических зданий — как непродуманность всей системы. В зимние петербургские холода такое положение становилось особенно нестерпимым: занятия проводились на Троицком подворье, на углу 15-й линии Васильевского острова и набережной Большой Невы [2, с. 37]. Проект архитектурного комплекса, задуманный в 1747–1748 гг. Валериани, остался неосуществленным (по проекту университет и гимназия должны были бы занять специальное двухэтажное здание в 16 помещений).

В 1754 г. Ломоносов предпринял отчаянную попытку превратить «дышащий на ладан» Академический университет в полноправное учреждение; попытка эта, однако, не встретила поддержки в правительственных кругах. Апологеты Академического университета пытаются доказать, что Ломоносов сознательно преувеличивал его бедствия. «Конечно же, слова о

* Этот принцип сохранялся и в XIX в. (см. [26, с. 80]).

том, что „Университет Санкт-Петербургский“ не имеет „действия“», не должны восприниматься буквально, как и написанные за два года до этого:

Извне почти одне развалины, внутрь нет ничего, что бы Академиею и Университетом могло называться (36, с. 63).

Как считает А. Ю. Андреев, слова Ломоносова — не эмоциональный всплеск, свидетельство несоответствия устройства Академического университета его громкому имени [8, с. 68]. Заметим, однако, что мысли эти повторяются не раз, и о пространственном объединении учащихся — в том числе. В письме 1759 г. к М. И. Воронцову, жалуясь, что уже три года он «отправляет дела канцелярские», Ломоносов подчеркивает бедность и нестроенность студентов:

...Будучи голодны и холодны, мало могли об учении думать и сверх того хождением домой через *дальное расстояние* и *служением дома* отцу и матери *теряли почти все время*, имели случай *резвиться* и *видеть дома худые примеры*... Не дивно, что с начала Гимназии (sic! — И. К.) не произошли не токмо профессора или хотя адъюнкты доморощенные, но ниже достойные студенты (37, с. 328) (курсив мой. — И. К.).

Здесь, на наш взгляд, Ломоносов отмечает, что причина неудач в том, что не удалось оторвать учащихся от традиционной среды, собрать их, чтобы, создав достойные условия существования, внедрять новые правила поведения, контролировать их в процессе занятий и досуга.

Пагубное разьединение в пространстве заставило Ломоносова подать «Представление... о постройке новых зданий для академических учреждений» (1757 г.): он указывал на то, что далеко живут служители, в отдалении от главного корпуса находятся академические департаменты (Лаборатория, Ботанический сад, Библиотека), ходить издалека вынуждены и профессора, и ученики. («Близость людей связывает их, связь же смягчает и цивилизует», — писал тот же Дидро [29, с. 98]). Выход Ломоносов видел в едином здании «по примеру Шляхетского кадетского корпуса»*. То же, впрочем, читаем у Ломоносова в «Записке о необходимости преобразования Академии Наук» (1758–1759 гг.):

Ученики все жили по своим домам и не имели доброго смотра и, будучи заочно, извиняли свою лень и гулянье то отдалением дому, то болезнью притворно (37, с. 340).

Показательно то, что университет и гимназия оказались объединены, слиты в Училище академии (в доме Строганова на стрелке Васильевского острова) [2, с. 47]. Однако они не образовали своего особого пространства, тем более оказывающего влияние на окружающую среду. Недаром многие считают, что после смерти Ломоносова в 1765 г. университет как максимум — перестал существовать, как минимум — был в упадке.

* М. В. Ломоносов же был причастен и к составлению «планов и фасадов» зданий задуманного комплекса.

Трудно переоценить известную культурную обособленность университетского мирка, которая сложилась в Москве в XVIII в., несмотря на открытость Университета. Как писал П. М. Бицилли:

«Среда» творится личностью в такой же мере, как личность творится «средой» — а если индивидуальная воля может повлиять на изменение условий жизни, то, в свою очередь, эти изменившиеся условия начинают в новом направлении влиять на индивидуальную волю [38, с. 63].

Пространство, охваченное распространением в Москве культуры Нового времени, и «университетское пространство» не совсем совпадали, накладывались друг на друга, причем первое было шире.



Москва.

Заставка первой половины XVIII в.

где человек сознательно уединялся — будь то кабинет масона, романтическая прогулка на природе, — там объективировались стремления человека новой культуры к сентиментальным чувствам, научным наблюдениям, внутренней работе мысли в русле просвещения.

Характерно и то, что практически с самого начала проекты отражали желание организаторов Университета, с одной стороны, сделать его центром культурной жизни города, а с другой — обособить его в городской среде.

Как показывает материал, любая просвещенная личность в Москве так или иначе тянулась к Университету, оказывалась вовлеченной в его мероприятия — через газету ли, книги его типографии, публичные праздники и пр. При этом «университетское пространство» активно расширялось, продвигая культурный процесс (так как университет по своей природе был проводником новых идей, новой культуры).

Университетское культурное пространство в Москве XVIII в. описывается в первую очередь «собирающими точками» и маршрутами культурных связей, прочерченных в пространстве города — т. е. местами, где объективировалась новая университетская культура в разных своих проявлениях, где шло ее усвоение, проникновение новых норм.

Дом, даже комната, где собирались единомышленники, где шло обучение, общение особого типа — вдохновляемое новыми идеями, на новой почве, могли стать точкой культурного пространства; место,



Окрестности Москвы (Симонов монастырь)

Интересно, что университетское московское пространство могло выплескиваться за пределы Москвы: таким «выбросом» университетской культуры стала Казанская гимназия, которая на первых порах была как бы частью Московского университета (переняв структуру и методы, обеспечиваясь учителями и учебниками). Прошло время — и учебное заведение стало автономно, университетская традиция оказалась прочна (недаром Казанский университет возродился после некоторого перерыва). Более того, уходя из Московского университета, но унося с собой впитанные там принципы, отношение к знанию, являясь уже носителями нового культурного кода, выпускники расширяли, «тиражировали» его культурное пространство*.

Физиономия университета

Каждый европейский университет XVIII в. имел свою «физиономию», особый стиль, строй отношений. Вот что писал в 1770-е гг. о немецких университетах магистр Лаукхард: «Йенцы от гессенцев... отличались лишь еще большей грубоватостью манер... Куда более тонкое обращение в Геттингенге».

* Лишь один пример: ученик гимназии, а затем и выпускник самого Московского университета В. А. Приклонский, поселившись в своем имении после отставки, сразу предпринял попытку завести в Кашине дворянское училище. Он был убежденным сторонником «публичного» образования дворянских детей в противовес домашнему, «где учителя без выбора, метода обучения не сведома, воспитание не наблюдено», — как писал он своему однокашнику по университету И. М. Булгакову (см. [39, с. 247]).

не» (недаром Геттингенский университет назывался «ученой республикой». — *И. К.*); «...узнал я изысканную вежливость лейпцигских студентов». О Лейпциге с восторгом писал и Ф. Шиллер: «Студенты здесь в почете... все они шествуют победоносной походкой»; учтивое поведение студентов наряду с высоким уровнем преподавания привлекало студентов «из добропорядочных семей» [40, с. 147, 200, 201]. А вот о Карлсшуте, где он сам учился и которая получила статус университета с 1781 г., отзывы другие: «Дисциплина имела здесь основополагающую роль... Казарменные порядки... надзор над порядком, чистотой, поведением вменялся в обязанность унтер-офицерам... Рапорт ежедневно принимал почти всегда сам герцог; строем ходили в столовую» [40, с. 34–37] и т. п.

Что можно сказать в этом отношении о наших двух университетах? Атмосфера самой Академии, при которой существовал университет в Петербурге, была отравлена скандалами, взаимными жалобами академиков, борьбой немецкой и русской «партий» (дело было «не в немцах как таковых, и не в злонамеренности тех или других лиц, а в общей системе, в которую злонамеренность хорошо вписывалась» [41, с. 139]. Проявления грубости во время дискуссий, как заметила Н. И. Кузнецова, как бы предполагались самим Регламентом 1747 г.: «Академики противного между собою мнения в деле ученом должны пристойные чести споры иметь».

В Петербурге отсутствовала основа для единения даже по производственному принципу. По мнению Ломоносова, пагубно действовало на Академию «запрещение академикам в другие науки вступать»:

ботаник не должен вступаться в математические дела, анатомик в астрономические и прочая (цит. по: [12, с. 440]).

Ученые работали изолированно друг от друга — поэтому и отсутствовал этос, необходимый в любом учебном заведении, минимальная корпоративность.

...Чрез то пресекается не токмо нужное сношение, но и союз наук и людей ученых дружба... Вольность и союз наук необходимо требуют взаимного сообщения (37, с. 347).

Бюрократическая система Академии, часто меняющееся руководство, постоянные сомнения в том, «нужен ли университет», молчаливый саботаж и воровство чиновников [2, с. 38] — все это, несомненно, создавало неблагоприятный климат, который не мог не передаться и академическим училищам.

Преподаватели-академики порой воспринимали преподавание как досадную помеху своей исследовательской работе (ведь Академия была главным звеном в триедином организме). Соглашаясь ехать в Россию, они ехали как *исследователи, согласившиеся читать лекции* (по 4 часа в неделю). И вот профессор Эпинус требовал,

чтоб труды, собственно до академии принадлежащие, к которым я обязан, ...яко важнейшие и мне приятнейшие, предпочитать всегда оным упражнениям... Назначать способное к сим лекциям

время и напоследок... чтоб студенты ходили ко мне на дом, ибо невозможно от меня требовать, чтоб я для весьма неприятного мне труда тратил деньги ...или в ненастную погоду ходил в аудиторию [2, с. 40].

Профессор Тауберт не переставал повторять, что «университет здесь не надобен»; Г. Ф. Миллер «профессоров научал делать разные в лекциях отговорки», давая им понять, что он Канцелярию ни во что не ставит [2, с. 38–40]. В отчете Академии наук за 1759 г. признавалось, что «как между студентами, так и гимназистами находится почти половина отчасти пьяниц, забияк, ленивых, непонятных и в учении никакого успеха не оказавших», которые признавали «учение себе крайним принуждением и тягостию» (цит. по: [42, с. 78]).

Примеры нравов академических студентов — случай с И. Барковым, который после кутежа ушел без разрешения с лекции, ворвался в кабинет ректора Крашенинникова и угрожал ему [43, с. 11]; группа студентов избилла конректора И. Г. Штриттера за то, что он «был хмелен» и пр. [2, с. 96]. (Трудно представить себе, кстати, чтобы в Московском университете кто-то ворвался в кабинет Мелиссино или Гейма, посягнув на Мерзлякова. Думается, причина — в отсутствии в Петербурге *установки на воспитание*, которая возобладала в Московском университете.) Разобщенность же учащихся — отражение слабости корпоративных связей самой Академии наук: ученые разобщены, они работают каждый сам по себе, порой и учеников своих подготавливая по индивидуальным планам. Группа людей, невольно объединенных условиями экспедиций, выдала наиболее плодотворные результаты работы; Эйлер и Паллас были исключением — они представляли образцы иного поведения и отношения к коллегам (может быть, поэтому ученики Эйлера составили первую научную школу на русской почве) [16, с. 95–96]. Однако это еще не университет. Как отмечает Н. И. Кузнецова, «предписать объединиться» и «помогать друг другу» нельзя.

Нельзя путать создание института науки и формирование научного сообщества. Формальное существование того или иного института порождает возможность имитации той или иной традиции, имитации, которая может быть более успешной или менее успешной [16, с. 90].

Бросаются в глаза неприкаянность академических студентов, очевидно тяжелые условия их жизни (и это особенно характерно для доломоновского периода): видимо, не чувствуя опеки, они то жалуются, что не получили ни копейки своих денег, то обращаются с просьбой купить им платье, то сами просят вручить им шпаги («для поощрения их к наукам») [2, с. 19, 37]. Самое удивительное — они вынуждены жаловаться, что им не читают лекций. Создается общее впечатление хаотичного учебного процесса (нет даже фиксированных летних каникул, зачисление идет непрерывно, учатся на разных уровнях. Но главное — не чувствуется *систематической* заботы об учащихся и понимание того, что университет предполагает создание особых условий. (Исключение составляет М. В. Ломоносов, который в ко-

роткий период своей власти пытался бороться за нормальные условия учебы и быта и был внимателен ко всем житейским мелочам; но этот период, к сожалению, был недолог.) Отношение к рядовым учащимся определялось, видимо, их статусом — особенно «бедствовали... из солдатских, матросских и плотнических подлых людей дети» (а ведь солдатские дети здесь преобладали) [2, с. 19, 36].

Московская корпоративность

Наука, пересаженная на русскую почву, «требовала того социального, политического и культурного контекста, в котором только она и может жить» [16, с. 49]. Был ли такой контекст в Москве? Нет, адекватного европейской науке контекста не было и быть не могло, но в Москве были гораздо более подходящие условия для постепенного его создания. Очевидно, что в Петербурге внутри академической (главенствующей) корпорации вплоть до XIX в. полноценную корпорацию университетскую создать не удалось. Московский же университет двигался именно к корпорации, *вырастая из социальной конструкции (которой он был вначале) к живому организму, движимому нравственным и познавательным началами.*

Говоря о новых тенденциях университетской жизни, следует отметить оригинальные попытки *сближения между учащими и учащимися*, которые мы позволим себе связать с «национальным типом» университета.

Не желая впадать в сентиментальность, мы должны, однако, констатировать, что к концу XVIII в. Московский университет уже представлял корпоративное объединение, обладавшее в глазах общества особой притягательной силой. *Патриархальность* — так можно охарактеризовать главную примету Московского университета, сохранявшуюся примерно до 20-х гг. XIX в. Она не только не считалась в Москве противоречащей новейшему духу европейского просвещения, но и подчеркивалась — как основа нравственного воспитания.

Вот что писал в 1802 г. об университете его выпускник И. М. Долгоруков в воспоминаниях об университетском доме:

В нем провел юность и выпущен на поприще жизни гражданской... Забуду ли самые стены тогдашнего храма муз, в которых испытывал я каждодневно столь великие щедроты небес? — Нет, нет! Мне и развалины их любезнее всего дивного в зодчестве нашего века! (цит. по: [3, с. 208–209]).

М. Дмитриев говорит о висящих в зале Московского университетского пансиона портретах тех, кто составлял гордость университета и вызывал искреннее (sic!) восхищение воспитанников:

**Вот зала та, где с стен заветных
Взирали лики прежних лет,
В чьих взорах важных и приветных
Читали мы добра завет:**

**Шувалов памятию вечный,
Херасков— двух времен звено,
И Муравьев чистосердечный,
И скромный муж Мелиссино!**

Можно констатировать, что при полном господстве в стране сословных предрассудков к началу XIX в. создана университетская общность. Этот факт не просто декларировался в торжественных речах университетских празднеств. Об этом говорят факты, сохраненные в источниках личного происхождения. Например, в 1805 г. в «Вестнике Европы» (т. 6, с. 138) читаем:

Живучи в Петербурге, я бывал свидетелем многих завидных сцен: когда кто-нибудь из товарищей приезжал туда — как они встречают его!.. какая радость! Они не наговорятся друг с другом, как братья, как друзья самые старинные!.. Они там будто одноземцы... в чужом государстве; почитают за стыд ожидать, или просить себе помощи от людей посторонних... Всего любезнее в них привязанность к товарищам, не охлаждаемая ни летами, ни отдаленностью местопребывания, ни разностию состояний (цит. по: [3, с. 382–383]).

«Сей памятник посвятили питомцы Московского университета покойному своему товарищу» — такая надпись была сделана в 1805 г. на скромном монументе на Лазаревском кладбище.

«Национальная модель»

Известно, что в Московском университете в первые годы его существования прибегали к обычному по тем временам способу наведения порядка — караул у ворот, надзирающие унтер-офицеры, «галебардиры» (рота из «неспособных» студентов). Однако постепенно военизированный дух исчезает; полиции в университете не было места до 20-х гг. XIX в.*

Разумеется, были проказы, драки в трактирах; разумеется, вертикальные (сословные) связи были пока сильнее горизонтальных. Но со временем давало себя знать то нравственное понимание воспитания, которое было положено в основу преподавания. Постоянное слово в характеристиках преподавателей — «добрый», об учащихся — «воспитанники», «дети», «отеческая опека»; при чтении воспоминаний создается впечатление семейной атмосферы, домашней обстановки [44]. Об отношениях ученика и учителя можно прочесть такие строки: «Антонский любил его как сына и действительно вполне заменил родителей ему, круглой сироте с детства» (о С. Г. Салареве).

* Признание определенной «особости» университетского пространства сквозит в эпизоде, произошедшем во время диспута при обсуждении одной из диссертаций. Декан Сандунов, желая прекратить диспут, где высказывались радикальные взгляды, заявил: «На такие возражения всего бы лучше мог отвечать московский обер-полицмейстер, но как Университету приглашать его сюда было бы неприлично, то я, как декан, закрываю диспут».

Преподаватели и сотрудники (чем ближе к концу столетия, тем больше) предстают перед нами группой единомышленников, кровно заинтересованных в успехе *alma mater*, и передающих эту заинтересованность ученикам. Профессор Шаден (который помимо университета преподавал в своем домашнем пансионе — одном из пансионов, существовавших в Москве под эгидой Московского университета) опирался на педагогические идеи немецкого писателя К. Геллерта — тот основной задачей образования провозглашал «воспитание сердца» [45, с. 304–305]. Как педагог-моралист, культивировавший «внутреннее христианство», в своих лекциях выступал Х. Чеботарев, первый выборный ректор университета [46, с. 214].

Среди воспитанников Московского университета росла традиция дружества, которая окрепла к концу XVIII в. Дружеские кружки, дружба — вот тема, присутствующая в воспоминаниях 1780–1790-х гг. о Московском университете, тем более неразрывно связанная с ним в начале XIX в. и позднее приводящая нас к демократичной атмосфере 40-х гг. XIX в. В «Воспоминаниях студентства» К. Аксаков уже писал «о спасительных товарищеских отношениях»:

Человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек. Такое чувство равенства, в силу человеческого имени, давалось университетом и званием студента.

(П. Сорокин, говоря о коммуникативной роли искусственно созданной обстановки всякого процесса, писал о том, что *под влиянием новой обстановки* человек трансформируется, перестает быть похожим на себя в обыденной жизни, вне этих атрибутов [47].)

Кажется, к 70-м гг. XVIII в. Московский университет в основных чертах сформировался уже как «самовоспроизводящийся организм», хотя и учителя, и учащиеся находились в процессе становления их статуса; постепенно назревала потребность в присуждении докторских степеней (чего университет был лишен вначале) [48, с. 30–33]. Преподаватели-иностранцы «обрусели». Появились целые университетские династии, школы. Домашние кружки преподавателей университета мало-помалу становились местами притяжения интеллектуальной элиты Москвы [7, с. 163–169, 205–213, 307–319].

Московское масонство

«Там без сомнения более свободы, но не в мыслях, а в жизни», — писал Карамзин о Москве. Эта относительная свобода отличала атмосферу Москвы от петербургской.

Складыванию особой атмосферы в Московском университете способствовала деятельность кружков Новикова—Шварца, тесно связанных с университетскими учащимися. Трудно переоценить те новые формы общения и интеллектуальной жизни, которые родились в Московском университете в «новиковское десятилетие». Недаром Новиков покинул Петербург и переехал в Москву — здесь он нашел простор своей деятельности. Формой

организации и объединения «просвещенного» московского общества стало масонство благотворительно-христианского толка, а соединительным звеном между этим кругом и университетом были М. Херасков, И. Тургенев, И. Шварц. В «университетской ложе» состояли многие преподаватели, ученики и студенты университета*. То, что впитали в себя эти и другие люди, заключало интеллектуальный и нравственный потенциал, который сохранялся в университете и после разгрома кружка; люди же, связанные с кружками, составили костяк корпуса руководителей и преподавателей университета, становившегося самовоспроизводящейся структурой. В тот же круг вели общие семейные и профессиональные связи, одна московская интеллектуальная среда**. Известно, что московская ветвь масонства отличалась от масонов петербургского толка гражданственностью позиции («Человек создан для сообщества с подобными себе», — писалось в одном из московских околоуниверситетских изданий; уединение, самосозерцание в одиночестве противоестественны, необходимо собрание людей, «соединившихся к единой цели... и взаимно обязывающихся» [49, с. 14–22]).

Деятельность новиковских организаций внесла вклад в формирование корпоративных связей. После разгрома новиковцев традиции сохранялись в кругу единомышленников, а позднее передавались от учителей к ученикам долгие десятилетия. М. Н. Муравьев, вышедший из кружка Новикова, став попечителем Московского университета, способствовал быстрому получению званий профессорами, принадлежавшими к окружению его друга, масона и бывшего директора университета И. П. Тургенева [50, с. 77]. Современники также называли «звеном, соединяющим деятелей русского просвещения XVIII столетия с деятелями XIX в.», М. П. Погодина, университетского деятеля уже 30-х гг. XIX в. («новое издание Новикова в нашем столетии») [51, с. 13], — имея при этом в виду не масонство, но просветительскую деятельность.

Традиции

Непрерывность университетской традиции — тот признак, который характеризует первый национальный университет России: то, что было заложено при основании учебного заведения, было живо и сохранило свою актуальность столетие спустя.

Поначалу в Московском университете главенствовали патриархальные, «феодальные» принципы: объявления о лекциях давались *по старшинству* профессора (например, после смерти Дильтея на юридическом факультете старшим профессором считался Десницкий и т. д.). Лишь со временем, с 80-х гг., утвердилась другая система — по факультетам [3, с. 225–226].

* С кругом Хераскова были связаны Страхов, Чеботарев, Прокопович-Антонский, Гаврилов, Политковский, Аршневский и др.

** Так, Мудров, поступивший в университет позднее, женившись на дочери Чеботарева, вошел в круг московского масонства; дружба с А. Тургеневым соединила на той же почве, но уже позднее Мерзлякова, Кайсарова, Жуковского и т. д.

Патриархальность предполагала распространение *личной* ответственности патрона-куратора на все — от мундирных пуговиц до международного авторитета*. При этом другой стороной медали было полное подчинение патрону, его отношение к университету как к своей вотчине (можно было свободно «изъять» студентов из учебного процесса для работы в Уложенной комиссии, «перекинуть» их в Канцелярию и пр.) [54]. Патриархальные традиции Московского университета выражались и в том, как университет становился самовоспроизводящейся структурой. В первые годы, когда он находился на стадии становления, его организаторы мыслили категориями, почерпнутыми из практики закрытых привилегированных учебных заведений. Так, после смерти директора Аргамакова, наводя в университете порядок, Конференция распорядилась определить к гимназистам двух надзирателей офицеров, «приказав оным жить с учениками, в чаянии, что сим образом своеволие тех школьников искоренится» [53, с. 76]. В 1757 г. при директоре Мелиссино порядок в гимназических классах наводили с помощью дежурных офицеров [53, с. 77].

Постепенно, однако, сложился порядок, когда старшим студентам поручалось опекать младших и гимназистов (тогда они становились «информаторами»).

В гимназии в каждой камере на 8–10 учеников приходилось по 3–4 студента («камерный» и «подкамерные»). Последние играли роль надзирателей и репетиторов при казенных учениках гимназии (они подчинялись эфору, который, в свою очередь, был под началом инспектора гимназии). Студенты помогали готовить уроки, водили учеников в столовую и церковь. Руководство считало такое устройство весьма полезным: студенты подавали младшим пример, «поддерживая на высоте свое звание», а кроме того, приобретали немалый педагогический опыт (польза «в отношении к той педагогической цели, для которой они назначали себя в университете» [3, с. 275]). Таким образом, сотрудники университета готовились в основном «из своих». Пример человека, который, собственно, вырос и сформировался в университетском пространстве — Ф. Левицкий, «который и сам из казенных университетских студентов... обучает в нижнем классе»; позднее, в 1769 г., Левицкий был повышен до звания учителя гимназии [55, с. 186].

Заметим, что традиция «студент—сотрудник» как особая форма подготовки к научной деятельности зародилась еще в Академическом университете [6, с. 15], но все же это были другие отношения. Там преобладала система индивидуальной подготовки и, как следствие чисто утилитарного принципа, главенствующего в Академии, — каждому академику велено было готовить себе преемника. В 1734 г., например, в каталог лекций были вклю-

* Хлопоча об одежде для студентов, куратор обещал в случае нехватки денег на форму прислать «от себя» [52, с. 95]. Когда первый директор Аргамаков опрометчиво потратил все штатные и пожертвованные университету суммы, Шувалов, «крайне оскорбившись дурной молвой о своем создании, приказал все немедленно исправить и даже на его собственный счет» [53, с. 75] и т. п.

чены профессора, находящиеся на тот момент в Камчатской экспедиции — они-де обучают студентов-помощников по экспедиции [6, с. 15].

В Московском университете руководство старалось отбирать в штат лучших из студентов. «Университет... приудерживал их у себя, обнадеживая местами лучшими... потому что таковые служили образцами для студентов младших». Такие студенты преподавали в гимназических классах, занимались переводами [4, с. 40–41]. В результате преэминентность соблюдалась и на высшем уровне: все русские профессора старшего поколения, получили высшее образование в Московском университете*. Кажется слишком резким утверждение А. Ю. Андреева о том, что между профессором из разночинцев и любым студентом из дворян существовала непреодолимая пропасть [50, с. 66]. Даже в ироничных высказываниях о некоторых профессорах молодых аристократов типа С. П. Жихарева сквозит не столько насмешка, сколько покровительственная ирония. Однако были профессора «из старых», которые вызывали и у них безусловное уважение**.

М. Н. Муравьев ставил своей целью подготовить новое поколение профессоров из числа воспитанников университета (это стало одним из направлений университетской реформы 1804 г.). Практически все профессора молодого поколения, которых Муравьев привел в университет, его же в свое время и окончили, продолжив таким образом университетскую традицию, но внеся при этом и новое — все они, как правило, завершали свое образование за границей. С их деятельностью связано появление новых, более демократичных отношений преподавателей и студентов (примером может служить кружок Мерзлякова) [50, с. 78–79]. Из этих побегов выросло то единство профессуры и студенчества, которое мы обнаруживаем в 40-е гг. XIX в. [9, с. 16].

Итак, на протяжении второй половины XVIII в. в Москве постепенно выкристаллизовывался круг людей, «объединенный привязанностью, не охлаждаемой ни летам, ни отдаленностью..., ни разностию сословий».

Патриархальные в самом лучшем смысле слова нравы Университета, семейное обхождение начальников и наставников, дружелюбное обращение с товарищами, мыслящая атмосфера, окружавшая юношество, благородные занятия ... привязывали к Университету узами любви, похожей на любовь к Родине (3, с. 383, 271).

В середине XIX в. воспитанник Московского университета М. Дмитриев писал:

Ныне, когда наши журналы сияют ввести и в воспитательные заведения вместо безусловной покорности равенство эмансипации

* Будучи набраны, как правило, из духовных училищ, они в большинстве своем происходили из провинции [50, с. 68–69].

** Среди них выделяется фигура П. И. Страхова. Питомец гимназии университета и новиковского кружка, он прошел весь университетский цикл: был личным секретарем Хераскова, инспектором университетской гимназии (известно, что за 25 лет своей инспекции он помнил всех ее воспитанников по именам!). Страхов стал профессором кафедры физики, а затем и ректором университета, помощником в преобразованиях попечителя Муравьева.

и вместо благоразумной дисциплины — мнимый прогресс, достигают ли они тех целей спокойного исполнения долга, до чего достигал Антонский своими патриархальными средствами! (56, с. 75).

Так принцип, положенный в основу европейского университета («свободное соединение» учеников и учителей), был в Москве трактован по-своему, в патриархальном духе: соединение в особое сообщество, живущее по особым законам*. И этот принцип, который позволял университету — учреждению нового типа — существовать в системе сословных отношений, в старомосковской среде (эта система «работала» примерно до 20-х гг. XIX в.!), — был своеобразной *национальной моделью университета*.

Руководители

Очевидно, что многое зависело от личности, покровительствовавшей учебному заведению. Вплоть до начала XIX в. «научный кругозор, эрудиция и организаторские способности попечителя определяли подобранный им состав университетских ученых», что «оказало огромное влияние не только на постановку учебного процесса, но и на формирование научных направлений» [58, с. 149].

Академический университет для его организаторов всегда оставался на втором месте — после самой Академии. Да и общее руководство, как известно, затруднялось тем, что «у руля» стояли не академики, не те, кто преподавал. Ломоносов писал в частном письме 1759 г.:

Ежели кто определен будет извне Академии, то никакой не воспоследует почти пользы, затем, что он долго будет должен признаваться ко внутреннему академическому состоянию (58, с. 328).

И недаром короткий подъем академических учебных учреждений Петербурга случился при Ломоносове, который знал изнутри все превратности российской школы.

Что касается последнего этапа существования Академического университета, после 1766 г., то жизнь его замирает, а сам он меняет свое название. Дело даже не в названии, которое потерял Академический университет (хотя и это симптоматично) — практика показывает, что недостаточно дать учреждению высокое название, чтобы наделить его соответствующими функциями. (Например, так называемая «Российская академия», созданная в 1783 г., представляла собой всего лишь филологический центр, созданный в Петербурге в подражание Французской академии).

21 июля 1777 г. комиссия из профессоров, проведя анализ учебных успехов всех старших гимназистов, сделала вывод, что «для ободрения и приохочивания учащихся, для соделания их, наконец, полезнейшими членами общества, необходимо нужно иметь при Академии высшее училище, в котором преподаваны были курс философии, математики, древностей и ис-

* Ср.: «В России нравственный элемент всегда преобладал над интеллектуальным» [57, с. 86].

тории» [58, с. 96]. Е. Р. Дашкова стала президентом Академии наук в январе 1783 г. — и директором ее училища: Екатерина II начинала реализовывать новые подходы к образованию. Комиссия об учреждении училищ, которая была создана в 1786 г., признала, что систему народного образования должны венчать университеты*, но, судя по всему, Академический университет — университетом не считала.

Апологеты Академического университета напирают на то, что Училище при Е. Р. Дашковой можно считать таковым уже потому, что там «обучались большому числу наук, нежели в Регламенте об Университете предписано» [2, с. 48, 56] (однако намеренно не замечают окончания фразы — «кои... нужны были Академии» [2, с. 48]). Они же подчеркивают, что Екатерина Романовна принимала учеников и «от родителей низкого состояния» (всем, однако, известны взгляды Дашковой на то, что «от некоторых... наук... еще отрасли есть, кои для одного звания людей надобны, для других же не полезны или излишними почитаться могут», высказанные именно в 1783 г. [59, с. 288]). Дашкова была поклонницей «утилитаристской» системы Эдинбургского университета — стремление обучать тому, что может приносить практическую и материальную, а не абстрактную и духовную пользу [1, с. 34-36]. В соответствии с этими взглядами она и относилась к развитию академического училища: застав всего «17 учеников и 21 обучающегося искусствам подмастерья», она лишь увеличила число первых до 50, а вторых — до 40 [2, с. 55]. Ясно, что при таком подходе университетом и не пахнет.

Просвещенные покровители

В Москве университету «везло» — вернее сказать, обстоятельства благоприятствовали: судьба его складывалась при участии людей, которые надолго остались в памяти университетских поколений. Преподавание здесь (в отличие от практики Академии) было *главным занятием***.

Первый этап был особенно труден, но неполадки, возникшие при директоре Аргамакове, были изжиты при Мелиссино, пришедшем в 1757 г. — он «мало-помалу, не употребляя никаких крутых мер, восстановил порядок и в учении, и в хозяйстве университета» [53, с. 76]. Совершенствуя уклад университетской жизни, Мелиссино освободился от «небрежных, замеченных в дурном поведении» учителей***. Случайные люди постепенно уходят. Спустя примерно одно десятилетие со времени основания Московского

* Проект, подготовленный Комиссией, начал осуществляться уже при Александре [13, с. 6]

** Один из учеников писал о профессоре Шадене так: «...Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны» [60, с. 18].

*** Среди них, кстати, был и магистр Ф. Яремский, товарищ Поповского и Барсова по Академическому университету, где он еще в годы обучения зарекомендовал себя как доносчик и был за это бит. Следует отметить, что Яремского тогда поощрял в доносительстве Э. Фишер, который осуществлял «догляд» за нравственностью студентов в строгановском доме («наблюдения осуществлял с помощью соглядатаев из отчисленных студентов» [2, с. 30]).

университета начинает складываться круг деятелей, которые полагали успех университета своей главной целью, поскольку связывали с ним всю свою жизнь, — Шувалов, Херасков, Прокопович-Антонский, Шаден, Меллисино, Муравьев, Гейм и другие (заметим при этом, что жизненный путь многих из них начинался в Петербурге). Нередки случаи, когда семья давала несколько поколений университетских деятелей (Тургеневы, Тимковские и др.). О 90-х гг. современники оставили такие воспоминания:

...Семейно-радушное обхождение начальства и наставников, дружелюбное обращение с товарищами, мыслящая атмосфера, окружавшая юношество;

...наука более и более завлекала студентов;

...отличнейшие из них оставались уже гораздо долее в Университете, нежели как бывало прежде.

Университет, созданный при активном участии какой-либо личности, несет на себе печать этой личности (и концепции, которую она представляет). Поддержка короля или папы вовсе не были редкостью для первых европейских университетов. После XIV в. новые университеты часто образовывались по инициативе правителей или городов, гарантировавших им наряду с правовыми и экономическими привилегиями определенное финансовое и материальное положение. Покровители и организаторы университетов помимо авторитета приобретали себе источник подготовки специалистов [1, с. 18–19].

Куратор Московского университета И. И. Шувалов, при всей уникальности, не мог не воплотить в себе черты определенного социального слоя, определенного времени. Это — тип просвещенного государственника, для которого незыблемой была идея верноподданнической преданности, а государство отождествлялось с личностью самодержицы. С этих позиций он и относился к университету.

Не следует, однако, считать, что такое покровительство было характерно в XVIII в. только для России. В Германии такие же землевладельцы-аристократы, затронутые влиянием прогресса и гуманизма, но не способные признать разночинца равным, становились основателями университетов. Так, Вестфальский университет в Мюнстере был основан в 1780 г. при непосредственном участии Франца-Фридриха-Вильгельма фон Фюрстенберга, министра и генерального викария. Вюртембергский двор создал один из своеобразных университетов Европы — Карлсшуле*, который давал образование на уровне лучших университетов. Определенная военизированность (ежедневный рапорт, почти всегда принимавшийся самим герцогом, походы в столовую строем и пр.) сближает его с Московским (на раннем этапе существования). Склонность к литературе в Карлсшуле не поощрялась — и тем не менее из ее стен вышел Шиллер.

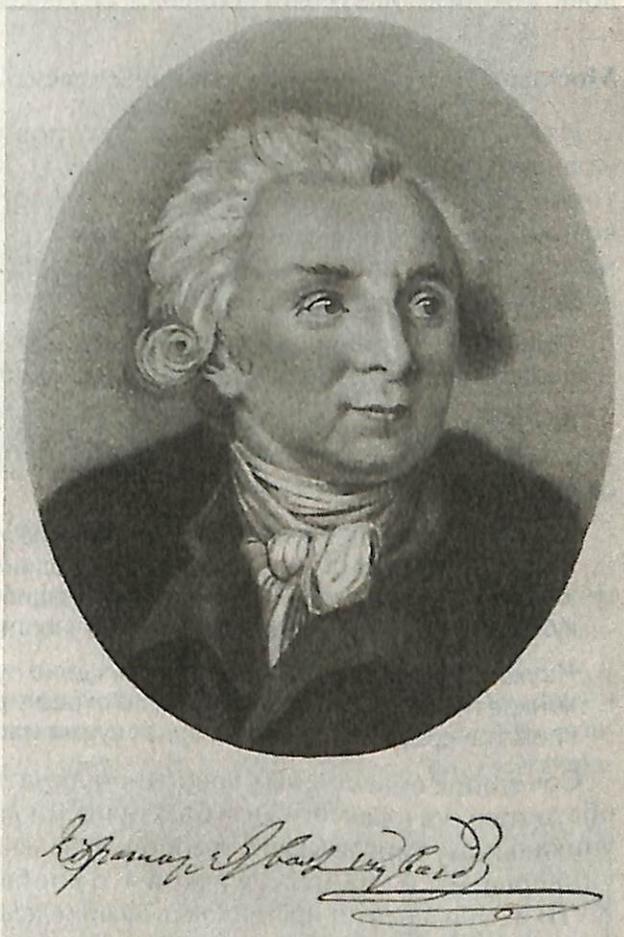
* С 1773 г. — герцогская военная академия; получила статус университета в 1781 г., который просуществовал до 1793 г.

Йенский и особенно Геттингенский университеты были совсем другими, и тем более важно, что именно с последним, университетом нового типа, у москвичей уже в начале XIX в. завязываются прочные контакты.

Возвращаясь к московской модели университета, отметим: утонченный вельможа Шувалов мог вникать в самые мелкие детали быта и повседневной жизни учебного заведения. Для руководства университетским «хозяйством» нужен был определенный опыт (какого, видимо, не было у Аргамакова, расстроившего все дела). И вряд ли мы преувеличим, если найдем в распорядительности Шувалова черты чисто феодального патернализма. Обратной его стороной было всевластие, вмешательство в любые дела. Не только отбор профессуры, сотрудников и самих студентов, но и судьба выпускников университета были в руках всесильного куратора (и это противоречит самому принципу университетов европейских — *свободное* соединение студентов и преподавателей).

Положение и наклонности позволяли куратору лично контролировать весь срез проблем. Может быть, поэтому именно Московскому университету и удалось, взяв на себя широкий спектр функций, стать более чем учебным заведением — крупнейшим культурным центром Москвы и страны в целом. Для становления института науки в то время, в старой, традиционной еще культурной среде тип, сочетающий в себе новые идеалы с неизжитыми чертами феодального менталитета (тип «просвещенного *покровителя*»), стал оптимальным, если не единственно возможным.

Шувалова отличало удивительное понимание общекультурной обстановки. Интересно, как тонко он пытался «адаптировать» публичные вы-



Иван Иванович Шувалов (1727–1797)

ступления университетских — чтобы не оттолкнуть от «науки» публику: «Чтобы речи на экзаменах... были короче и не в тягость слушателям»; меньше восхвалений друг друга — «ибо она материя так уже истощена!» [3, с. 47]. «Тихонько, мало-помалу» — это было любимое выражение Шувалова, которым он руководствовался, создавая Московский университет.

Москва и Петербург — сообщающиеся сосуды

Итак, усилиями умелых организаторов университетская идея была «адаптирована» для российских условий. П. Ю. Уваров, специалист по истории европейских университетов, замечает, говоря об обстоятельствах возникновения Московского университета, что феномен университета демонстрирует удивительную способность приживаться на любой почве, куда менее благодатной, чем российская:

Если хотя бы основные элементы университетской системы были намечены — далее вступала в действие *сила вещей* [61, с. 153].

Тот факт, что под влиянием местных условий вновь возникавшие институты науки неизбежно приобретают разнообразные формы, очевиден для современных исследователей:

Хотя наука является в определенном смысле универсальным, интернациональным феноменом, но ее единство суть единство многообразия, впитывающее в себя подобно океану потоки-реки национальных, отмеченных социокультурными различиями вариантов научности [62, с. 39–40].

Наука не знает границ, но если ей суждено пустить корни в той или иной конкретной стране, она неизбежно отреагирует на такие факторы, как климат и среда, иначе она не будет нужна местным жителям [63, с. 11].

Сочетание объективных природно-климатических и социо-культурных обстоятельств с факторами субъективными дало возможность возникнуть уникальному типу высшего учебного заведения, именуемому Московский университет. В той мере, в какой это вообще было возможно в России XVIII в., университет претендовал на определенную независимость и самоценность. Его этос, сформировавшийся стиль отношений учащихся и учащихся были органически связаны с традициями той среды, в которой он существовал. Это и позволило ему развиваться, постепенно, «мало-помалу», сохраняя свой стиль и традиции, подниматься от «учения» к «науке», внося в общественное сознание представления о природе и целях науки, о ее социальной роли, о ценностно-этических нормах научного сообщества. И именно в силу этих причин Московский университет стал тем «модулем», под который в начале XIX в. «подстраивалась» вся система высшего образования в России.

Возвращаясь к началу статьи, однако, подчеркнем, что первым источником, откуда Московский университет черпал свой опыт, были Академия и Академический университет (о его заслугах уже говорилось в начале



Аллегория Просвещения. Гравюра XVIII в.

статьи). Помимо опыта преподавания Академия делилась с Московским университетом преподавателями, книгами, инструментами, связями с зарубежными учреждениями. Не забудем про вклад М. В. Ломоносова и Г. Ф. Миллера*, чей опыт был накоплен в годы работы в системе Академии наук, и которые специально и много думали о совершенствовании Московского университета. Более того: говоря о вкладе Петербурга, не стоит ограничиваться ролью Академии и академических училищ.

Но — подумаем: Петр I создавал первые учебные заведения в Москве; Ломоносов, Поповский и др. прибыли в Петербург из Славяно-греко-латинской академии, а затем Поповский снова вернулся в Москву; сам куратор Московского университета Шувалов руководил им, безвыездно живя в Петербурге. Кроме того, уже упоминалась роль петербуржцев, вышедших из стен, например, Сухопутного шляхетного корпуса, которые стояли у истоков Московского университета. Не забудем о традиции издания журналов, обилие которых характеризует московскую университетскую среду последней трети XVIII в. — она (как и многие другие) закладывалась в Петербурге. Московский же университет дал кадры для Академии, Царскосельского лицея и пр. И так далее, перечень фактов можно множить. Дело в том, что Москва и Петербург играли в XVIII в. роль сообщающихся сосудов, где «закипала» интеллектуальная среда, развитие которой уже в XIX в. дало взлет университетской системе образования в России.

* См. сочинение Г. Ф. Миллера «Мысли об учреждении Московского университета» (1764 г.) [64, с. 64]

Казалось бы, при таком подходе вопрос о первородстве университетов становится схоластическим. И все же историческая правда существует: как сказал еще С. П. Шевырев,

исполнить последнюю мысль Петра Великого было предназначено Московскому университету (3, с. 7).

Потому что любой университет «возникает там и тогда, где в обществе со стороны разных слоев его населения проявляется живой интерес к университету» [1, с. 15]. И именно в Москве сложились наиболее благоприятные условия для возникновения и постепенного становления более чем учреждения — культурного и интеллектуального центра особого толка, ставшего первым национальным университетом.

Литература

1. Захаров И. В., Ляхович Е. С. Миссия университета в европейской культуре. М., 1994.
2. 275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись. 1724–1999. СПб., 1999.
3. Шевырев С. П. История Московского университета. М., 1855.
4. Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М., 1989.
5. Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее жители конце XVII — первой четверти XVIII вв. М., 1998.
6. Копелевич Ю. Х. Первые академические студенты // ВИЕТ. 1996. № 2.
7. Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997.
8. Андреев А. Ю. О начале университетского образования в Санкт-Петербурге // Отечественная история. 1998. № 5.
9. Петров Ф. А. Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование системы университетского образования. Кн. 1. Ч. 1. Зарождение системы университетского образования в России. М., 1998.
10. Петров Ф. А. Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование системы университетского образования. Кн. 2. Ч. 1–2. Становление системы университетского образования в России в первые десятилетия XIX века. М., 1998.
11. Петров Ф. А. Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование системы университетского образования. Кн. 2. Ч. 3. Становление системы университетского образования в России (в печати).
12. История Академии наук СССР. Т. 1. М.-Л., 1958.
13. Чесноков В. И. Обзор движения университетов в Российской империи // Российские университеты в XVIII–XX веках. Вып. 3. Воронеж, 1998.
14. Кузнецова Н. И. Социальный эксперимент Петра I и формирование науки в России // Вопросы философии. 1989. № 3.
15. Документы и материалы по истории Московского университета в XVIII веке. Т. 1. М., 1950.
16. Кузнецова Н. И. Социо-культурные проблемы формирования науки в России (XVIII — середина XIX вв.). М., 1997.
17. Коваленко Т. А. Менталитет дворянской культуры XVIII века // Общественные науки и современность. 1997. № 5.
18. Хренов Н. А. Мифология досуга. М., 1998.
19. Хорошилова Л. Б. Студенты // Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997.
20. Жизнь и приключения А. Болотова, описанные им самим для своих потомков // Русская старина. Т. 3. СПб., 1870.

21. Антология педагогической мысли России XVIII в. М., 1985.
22. Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1. СПб., 1888.
23. История Академии наук СССР. Т. 1. М.-Л., 1958.
24. Левшин Б. В. Академический университет в Санкт-Петербурге (Историческая справка) // Отечественная история. 1998. № 5.
25. Русский биографический словарь. Притвиц-Рейс. СПб., 1910.
26. Шевырев А. П. Культурная среда столичного города. Петербург и Москва // Очерки русской культуры XIX века. Т. 1. Общественно-культурная среда. М., 1998.
27. Пенчко Н. А. Основание Московского университета. М., 1953.
28. Дидро Д. «Вашему величеству от слепца, вздумавшего рассуждать о цвете» // Дидро Д. Собр. соч. Т. 10. М., 1947.
29. Дидро Д. О Петербурге // Дидро Д. Собр. соч. Т. 10. М., 1947.
30. Пиксанов Н. К. Областные культурные гнезда. М., 1928.
31. Борисова Е. А. О ранних проектах зданий Академии наук // Русское искусство XVIII века. Материалы и исследования. М., 1973.
32. Гаврилова Е. И. Ломоносов и основание Академии художеств // Русское искусство XVIII века. Материалы и исследования. М., 1973.
33. Кулакова И. П. Университетское пространство // Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997.
34. Тихонов Ю. А. Дворянская сельская усадьба близ Москвы и Санкт-Петербурга в XVIII веке // Отечественная история. 1998. № 2.
35. Дидро Д. Опыт об образовании в России. Примечания // Дидро Д. Собр. соч. Т. 10. М., 1947.
36. Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу. Из истории университетского образования в Петербурге в XVIII–XIX в. Л., 1988.
37. Ломоносов М. В. Избр. произв. В 2-х т. Т. 2. М., 1986.
38. Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М., 1996.
39. Рак В. Д. Переводчик В. А. Приклонский (материалы к истории тверского «культурного гнезда» в 1770–1780-е годы) // XVIII век. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII — начало XIX вв. Л., 1981.
40. Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984.
41. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVIII — начала XIX века. М., 1983.
42. Михневич В. Женщина XVIII столетия. Киев, 1896.
43. «Высший градус наук» // Санкт-Петербургский университет. 31 марта 1998 г. № 8.
44. Хорошилова Л. Б. Воспитательные традиции в Московском университете на рубеже XVIII–XIX вв. Доклад на конференции «Ломоносовские чтения». Москва, МГУ, апрель 1999 г.
45. Пономарева В. В. Университет в культуре XVIII века // Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997.
46. Андреев А. Ю. Профессора // Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997.
47. Сорокин П. Система социологии. Пг., 1920.
48. Иванов А. Е. Ученые степени в Российской империи. XVIII в. — 1917 г. М., 1994.
49. «Вечерняя заря. Магазин свободнокаменщический». Т. 1. Ч. 2. 1784.
50. Андреев А. Ю. Московский университет в общественно-культурной жизни России начала XIX века (1803–1812). Дисс... к. и. н. М., 1996.
51. Петров Ф. А. М. П. Погодин и создание кафедры российской истории в Московском университете. М., 1995.
52. Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. Т. 1. М., 1960.
53. Черты из истории Императорского Московского университета // Слово о Московском университете. I. М., 1997.

54. Кулакова И. П. И. И. Шувалов и Московский университет. Тип «просвещенного покровителя» (к постановке проблемы) // *Философский век. Альманах*. 8. Иван Иванович Шувалов (1727–1797). Просвещенная личность в российской истории. К 275-летию Академии наук. СПб., 1998.
55. Страхов П. И. Краткая история Академической гимназии, бывшей при Императорском Московском университете // *В воспоминание*. 12 января 1855 г. М., 1855.
56. Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998.
57. Бердяев Н. Русская идея // *Вопросы философии*. 1990. № 1.
58. Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX века. М., 1990.
59. Дашкова Е. Р. О смысле слова «воспитание» // *Антология педагогической мысли России XVIII в.* М., 1985.
60. Степанов А. П. Страничка из истории воспитания в России конца прошлого века // *Русская школа*. 1891. № 1.
61. Уваров П. Ю. Российская гастроль университетской идеи (Рец.: Университет для России: Взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997) // *Вопросы философии*. 1998. № 11.
62. Филатов В. П. Образы науки в русской культуре // *Вопросы философии*. 1990. № 5.
63. Хусейн Т. Об университетах // *Курьер Юнеско*. 1992. Октябрь.
64. Смагина Г. И. Академия наук и российская школа второй половины XVIII в. СПб., 1996.

Академики об Академии: ответы на вопросы ВИЕТ в связи с юбилеем РАН

В связи с 275-летним юбилеем Академии наук журнал «Вопросы истории естествознания и техники» провел опрос некоторых известных представителей отечественной науки. Анкета включала следующие вопросы:

1. Как, под влиянием каких причин, мотивов и жизненных обстоятельств Вы пришли в науку?
2. Какие совершенные в XX в. открытия отечественных ученых Вы считаете наиболее значительными (назовите 2–3 открытия)?
3. Какой Вам видится роль Академии наук в истории нашей страны и отечественной науки?
4. Что Вы думаете о проблемах современной российской науки и ее перспективах?

Мы продолжаем публикацию поступивших в редакцию ответов на анкету (начало см.: ВИЕТ. 1999. № 2. С. 164–174).



Федоренко Николай Прокофьевич — академик с 1964 г., советник Президиума РАН. Область научных интересов: экономика, система оптимального функционирования экономики (СОФЭ).

1. Если бы было нужно ответить на этот вопрос коротко, я бы сказал так: привела меня в науку судьба, а удержало в ней и подвело к ее вершинам трудолюбие. Таким образом, причиной всему искра Божья, переданная через